



от конца истории

к концу капитализма

славой жижек

неприятности в раю

ГОНЗО

Славой Жижек

**Неприятности в раю. От конца  
истории к концу капитализма**

«Рама Паблишинг»

2014

**Жижек С.**

Неприятности в раю. От конца истории к концу капитализма /  
С. Жижек — «Рама Пабблишинг», 2014

ISBN 978-5-904577-85-8

Славой Жижек, один из самых известных и неортодоксальных (признаваемый также одним из самых опасных) философов современности, в своей книге «Неприятности в раю» ставит вопрос: возможно ли найти выход из кризиса капитализма?» констатирует: капитализм находится в глубоком кризисе. Отталкиваясь от идеи Ф. Фукуямы о западной либеральной демократии как конечной и наилучшей форме социального порядка и диагностируя сотрясающие мировой капиталистический рай «неприятности» через призму «коммунистической гипотезы», Жижек анализирует возможности и ловушки новой освободительной борьбы. В типичной для себя манере он ведет свои рассуждения в активном диалоге между философией и массовой культурой, совмещая марксизм и кей-поп, Бэтмена и Тэтчер и т. д., и заставляет повествование перескакивать с долговой экономики на борьбу за контроль над киберпространством, с тупиковых ситуаций «арабской весны» на тщетность антиевроцентризма, с давления идеологического Сверх-Я на неоднозначную роли насилия в освободительной борьбе. Результатом становится резкая критическая картина нынешнего состояния мира и грядущего нового порядка.

ISBN 978-5-904577-85-8

© Жижек С., 2014  
© Рама Пабблишинг, 2014

# Содержание

Предисловие	6
1. Диагноз	17
Кризис, какой кризис?	17
Конец ознакомительного фрагмента.	23

**Славой Жижек**  
**Неприятности в раю. От конца**  
**истории к концу капитализма**

*Йеле – спасительнице, явившейся как раз вовремя*

Slavoj Žižek  
Trouble in Paradise  
From the End of History to the End of Capitalism

London  
Penguin Books Ltd.

Перевод с английского *Максима Леоновича*

Оригинальное издание на английском языке было опубликовано издательством Penguin Books (Лондон). All rights reserved. Original English language edition first published by Penguin Books Ltd, London



© text copyright@ Slavoj Žižek, 2014  
© М. Леонович, перевод на рус. яз., 2020  
© «Гонзо», оформление, 2021

## Предисловие

### *Врозь мы – сила!*

«Неприятности в раю»<sup>1</sup> – шедевр Эрнста Любича 1932 года – это история Гастона и Лили, двух счастливых воров, жизнь которых осложняется, когда Гастон влюбляется в Мариэтт – одну из их богатых жертв. Текст песни, звучащей во время вступительных титров, дает определение тем «неприятностям», которые имеются в виду. Этому же служат и сопровождающие песню кадры: сначала мы видим слова «Неприятности в», затем под ними появляется широкая двуспальная кровать и, наконец, на фоне кровати – «в раю» большими буквами. Таким образом, «рай» здесь – это рай полноценных сексуальных отношений: «That's paradise / while arms entwine and lips are kissing / but if there's something missing / that signifies / trouble in paradise» («Это рай / пока делятся объятья и поцелуи / но если чего-то не хватает / то это означает / неприятности в раю»). Если выразиться предельно прямо, то названием «Неприятности в раю» Любич говорит нам: «il n'y a pas de rapport sexuel» («никакого отношения к сексуальному»).

Так в чем же состоят эти неприятности в раю в фильме «Неприятности в раю»? Существует фундаментальная неопределенность, связанная с этим важным вопросом. Первый ответ, который напрашивается сам собой, заключается в следующем: хотя Гастон любит и Лили, и Мариэтт, истинно «райской» была бы сексуальная связь с Мариэтт, и именно поэтому связь с ней должна оставаться невозможной и нереализованной. Данное отсутствие реализации придает финалу картины меланхолический тон: смех и оживленность последней минуты фильма, радостная демонстрация партнерских отношений между Гастоном и Лили лишь заполняют пустоту этой меланхолии. Разве Любич не намекает на это повторяющимся кадром большой пустой двуспальной кровати в доме Мариэтт, кадром, который напоминает о пустой кровати во время титров? Однако не исключено и совершенно противоположное прочтение:

*Возможно ли, что раем все-таки является скандальная любовь Гастона и Лили – двух элегантных воров, заботящихся о своих потребностях, а неприятностями – величественно-статуарная Мариэтт? Что, если, по соблазнительной иронии, Мариэтт – змея, выманивающая Гастона из его блаженно-грешного эдемского сада? <...> Рай, хорошая жизнь, есть жизнь преступная, полная очарования и рисков, а злое искушение приходит в виде мадам Коле, чье богатство обещает спокойную dolce vita: никакой настоящей преступной дерзости и ухищрений, одно лишь рутинное лицемерие уважаемых классов<sup>1</sup>.*

Прелесть такого прочтения в том, что райская невинность обнаруживается в очаровательной и динамичной преступной жизни, следовательно, райским садом выступает уголовный мир, тогда как зов респектабельности высшего общества приравнивается к искушению змея. Тем не менее этот парадоксальный разворот легко объясняется искренним и грубым выплеском эмоций Гастона – первым и единственным в этом фильме, причем сыгранным без изыщества или ироничной дистанции, – после того как Мариэтт отказывается вызывать полицию, услышав от него, что член совета ее компании годами систематически воровал у нее миллионы. Гастон упрекает Мариэтт в том, что, когда обычный грабитель вроде него крадет у нее сравнительно небольшую сумму денег, она готова немедленно заявить в полицию, но закрывает глаза на присвоение ее миллионов представителем уважаемого высшего класса. Разве Гастон здесь

---

<sup>1</sup> Фильм также известен под названием «Переполюх в раю». – Здесь и далее примечания в квадратных скобках принадлежат переводчику и редактору. Такие примечания имеют сквозную нумерацию по всей книге.

не перефразирует известное высказывание Брехта: «Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка»? Что такое обычное ограбление, какие совершают Гастон и Лили, в сравнении с расхищением миллионов под видом неясных финансовых операций?

Здесь, однако, следует выделить еще один аспект: действительно ли преступная жизнь Гастона и Лили так уж «полна очарования и рисков»? Под внешним шармом воровства не являются ли они оба «типичной буржуазной парой, добросовестными профессионалами с дорогими привычками – яппи, опередившими свое время? Гастон и Мариэтт, напротив, кажутся действительно романтической парой, любителями приключений и риска. Выбирая Лили и преступный мир, Гастон поступает разумно: он возвращается в свое “теплое местечко”, предпочитая знакомую обыденную жизнь. И делает он это с огромным сожалением, очевидным по его томительному последнему разговору с Мариэтт, полному раскаяния и элегантной пламенности с обеих сторон»<sup>2</sup>. Гилберт Кит Честертон отмечал:

*[Детективная история] в известном смысле способствует осмыслению того факта, что цивилизация сама является наиболее сенсационным из расколов, наиболее романтическим из восстаний. <...> Когда сыщик в приключенческом полицейском романе с безрассудной отвагой заходит в воровской притон и противостоит в одиночку ножам и кулакам бандитов, это наверняка побуждает нас помнить, что оригинальная и поэтическая фигура – это блюститель социальной справедливости, а воры и грабители – это всего-навсего старые как мир, самоуспокоенные космические ретрограды, счастливо наслаждающиеся древней респектабельностью обезьян и волков. Романтика полицейской службы... основана на том факте, что нравственность представляет собой самый тайный и смелый из заговоров<sup>3</sup>.*

Разве это не лучшее определение Гастона и Лили? Разве эти два грабителя не живут в своем раю до падения в этическую страсть? Здесь важна параллель между преступностью (воровством) и сексуальной распущенностью: что, если в нашем постмодернистском мире законного греха, где супружеские обязательства воспринимаются как смехотворно устаревшие, действительно подрывными элементами выступают те, кто упорно цепляются за них? Что, если сегодня обычный брак является «самым тайным и смелым» из всех прегрешений? Именно в этом и кроется предпосылка, лежащая в основе «Серенады трех сердец» Любича: женщина ведет довольную спокойную жизнь с двумя мужчинами; в качестве опасного эксперимента она пробует традиционный брак; однако эта попытка с треском проваливается, и она возвращается к комфортной жизни с двумя мужчинами, так что общий итог можно сформулировать, перефразировав приведенные выше слова Честертон:

*Брак сам является наиболее сенсационным из расколов, наиболее романтическим из восстаний. Когда влюбленная пара произносит супружеские клятвы и с безрассудной отвагой противостоит в одиночку многочисленным соблазнам удовольствий распутства, это наверняка побуждает нас помнить, что оригинальная и поэтическая фигура – это брак, а изменники и участники оргий – всего-навсего старые как мир, самоуспокоенные космические ретрограды, счастливо наслаждающиеся древней респектабельностью беспорядочно сношающихся обезьян и волков. Супружеская клятва основана на том факте, что брак представляет собой самое тайное и смелое из сексуальных излишеств.*

Подобная двойственность характерна и для того базового политического выбора, который стоит перед нами сегодня. Циничный конформизм говорит нам, что эмансипационные

идеалы большего равенства, демократии и солидарности скучны и даже опасны, что они ведут к серому, зарегулированному обществу и что наш истинный и единственный рай – это существующая «порочная» капиталистическая вселенная. Радикальная освободительная борьба начинается с тезиса о том, что, наоборот, капиталистическая динамика скучна, предлагает одно и то же под видом постоянных перемен и что борьба за эмансипацию по-прежнему остается самым смелым из всех начинаний. Наша цель – привести доводы в пользу этого второго варианта.

Есть замечательный французский анекдот про британского сноба в Париже, который притворяется, будто понимает по-французски. Он идет в дорогой ресторан в Латинском квартале и на вопрос официанта «Hors d'oeuvre?» отвечает: «Нет, я не безработный и могу себе позволить поесть здесь! Какие закуски вы можете предложить?» Официант предлагает ему вяленую ветчину: «Du jambon cru?» Сноб отвечает: «Нет, кажется, в последний раз я здесь ел не ветчину. Но хорошо, давайте попробуем еще раз, а что насчет основного блюда?» «Un faux-filet, peut-être?» Сноб раздражается: «Принесите мне настоящий, я же сказал, у меня достаточно денег! И поскорее, пожалуйста!» Официант заверяет его: «J'ai hâte de vous servir!» – на что сноб огрызается: «Почему это вы не хотите меня обслуживать? Я оставлю хорошие чаевые!»<sup>2</sup> Наконец сноб понимает, что его французский никуда не годится; желая восстановить свою репутацию и доказать, что он культурный человек, он решает перед своим отъездом поздним вечером пожелать официанту спокойной ночи на латыни, ведь ресторан расположен в Латинском квартале, и говорит ему: «Nota bene!»

Эта книга состоит из пяти шагов в подражание ошибкам незадачливого английского сноба. Мы начнем с диагноза, определения основных координат нашей глобальной капиталистической системы, затем перейдем к кардиогнозису – «сердцеведению» этой системы, то есть идеологии, заставляющей нас принимать ее. За этим последует прогноз – оценка будущего, которое ожидает нас, если нынешнее положение вещей сохранится, а также предполагаемых перспектив или выходов. Закончим мы эпигнозисом (этот теологический термин обозначает уверенное знание, вовлекающее нас в действия и принимаемое субъективно), который очертит субъективные и организационные формы, подходящие для нашей новой борьбы за освобождение. В приложении рассматриваются тупики сегодняшней эмансипационной борьбы на примере последнего фильма о Бэтмене.

«Рай» в названии этой книги обозначает рай конца истории (это понятие разработал Фрэнсис Фукуяма, провозгласивший либерально-демократический капитализм окончательным и наилучшим социальным порядком), а «неприятности» – это, конечно, продолжающийся кризис, вынудивший даже самого Фукуяму отказаться от своей идеи конца истории. Мой тезис состоит в том, что «коммунистическая гипотеза», как ее называет Ален Бадью, является единственным подходящим фреймом для диагностирования этого кризиса. На эту мысль меня вдохновила серия лекций, которые я прочел в Сеуле в октябре 2013 года в университете Кёнхи как приглашенный профессор. Моей первой реакцией на это приглашение было: не безумие ли говорить о коммунистической идее в Южной Корее? Разве разделенная Корея не является самым очевидным, почти клиническим случаем, демонстрирующим, в каком положении мы находимся сегодня, после окончания холодной войны? По одну сторону границы – Северная Корея, воплощающая крах коммунистического проекта XX века, по другую – Южная Корея, переживающая бурное капиталистическое развитие и достигающая новых уровней процветания и технологической модернизации (компания Samsung даже оспаривает первенство Apple).

---

<sup>2</sup> Анекдот построен на языковой игре. Идиома hors d'oeuvre («закуска»; в другом значении «нечто необычное, экстраординарное») буквально переводится как «вне/отдельно от работы, дела». Du jambon cru – «вяленая ветчина», но cru омонимично причастию от глагола «верить, думать, полагать». Un faux-filet – стейк из тонкого края, стриплойн, но при буквальном прочтении «фальшивое филе». J'ai hâte de vous servir – «спешу вас обслужить», но в данной форме глагол «спешить» звучит так же, как глагол «ненавидеть».

Разве Южная Корея в этом смысле не служит лучшим доказательством того, насколько фальшиво звучат разговоры о мировом кризисе?

На долю корейского народа в XX веке выпали чудовищные страдания. Неудивительно, что (как мне сказали) даже сегодня в Корее запрещено говорить о зверствах, совершенных там японскими оккупантами во Второй мировой войне. Они боятся, что разговоры об этом нарушат душевное спокойствие пожилых людей: разорение было столь тотальным, что корейцы всячески стараются забыть то время и предпочитают смотреть вперед. Таким образом, их отношение подразумевает глубоко ницшеанскую инверсию стандартной формулы «мы простим, но не забудем». В связи со зверствами японцев у корейцев есть поговорка: «забуди, но никогда не прощай». И они правы: в формуле «прости, но не забывай» есть нечто очень лицемерное, коварное, поскольку она предполагает шантаж Сверх-Я: «Я прощаю тебя, но, не забыв о твоих проступках, я сделаю так, чтобы ты всегда чувствовал себя виноватым». Так как же корейцы пережили это страдание? Для начала я хотел бы дать слово итальянскому социальному теоретику Франко Берарди, недавно побывавшему в Сеуле:

*К концу XX века, после десятилетий войн, унижений, голода и страшных бомбардировок, физический и антропологический ландшафт этой страны был сведен к некой разоренной абстракции. В этот момент человеческая жизнь и город с покорностью терпели преобразующую руку высшей формы современного нигилизма.*

*Корея – это точка отсчета для всего мира, прообраз будущего нашей планеты. <...>*

*После колонизации и войн, после диктатуры и голода южнокорейская ментальность, освобожденная от бремени физических потребностей, плавно вошла в цифровую среду, проявив при этом меньшую степень культурного сопротивления, чем практически любой другой народ мира. Это, как я считаю, является основным источником невероятного экономического подъема Южной Кореи в годы электронной революции. В опустевшем культурном пространстве корейский опыт отмечен крайней степенью индивидуализации и одновременно направлен в сторону предельного закабаления коллективного разума.*

*Эти одинокие монады прогуливаются в городском пространстве, непрерывно мягко взаимодействуя друг с другом при помощи фотографий, твитов, игр, возникающих на маленьких экранах их телефонов, отлично изолированные и отлично встроенные в бесперебойный интерфейс потока...*

*В Южной Корее самый высокий уровень самоубийств в мире. <...> Самоубийство здесь – наиболее частая причина смерти людей в возрасте моложе сорока лет. <...> Интересно, что количество самоубийств в Южной Корее удвоилось за последние десять лет. <...> За два поколения условия их жизни определенно улучшились с точки зрения доходов, питания, свободы и возможности путешествовать за рубежом. Но цена этого резкого улучшения состояла в «опустынивании» повседневной жизни, гиперускорении ритмов, крайней индивидуализации судеб и жесточайшей конкуренции на рынке труда...*

*Высокотехнологичный капитализм, естественно, требует постоянного увеличения производительности и непрерывной интенсификации ритма работы, хотя он же обусловил и впечатляющее повышение уровня жизни, стандартов питания и потребления. <...> Однако нынешнее отчуждение можно назвать адом иного рода. Интенсификация труда, опустынивание ландшафта и виртуализация эмоциональной жизни вместе порождают*

*такую степень одиночества и отчаяния, которой трудно сознательно противостоять. <...> Изоляция, конкуренция, чувство бессмысленности, принуждение и неуспех: двадцать восемь человек из ста тысяч ежегодно сводят счеты с жизнью, и еще многие другие пытаются это сделать.*

*Поскольку самоубийство можно считать главным признаком антропологической мутации, связанной с цифровой трансформацией и прекаризацией, то неудивительно, что Южная Корея лидирует по количеству самоубийств на душу населения<sup>4</sup>.*

Тот портрет Южной Кореи, который рисует Берарди, как будто подражает образцовому и непревзойденному за последние десятилетия знаменитому портрету Лос-Анджелеса в «Америке» Бодрийера как гиперреалистичного ада. Удобнее всего было бы отмахнуться от этого жанра портретов как от претенциозных псевдоинтеллектуальных эзерсисов европейских постмодернистов, использующих чужую страну или город как экран, на который они проецируют свои мрачные антиутопии. Несмотря на все преувеличения, в них есть доля истины, а точнее говоря, если перефразировать широко известный афоризм Адорно о психоанализе, в бодрийеровском портрете Лос-Анджелеса нет ничего истинного, кроме преувеличений. И то же самое справедливо в отношении впечатлений Барарди от Сеула: в них содержится образ места, лишённого истории, лишённого мира (worldless). Бадью заметил на этот счет, что мы живем в социальном пространстве, которое все больше воспринимается как безмирное. Даже антисемитизм нацистов, несмотря на его отвратительность, открывал мир: он описывал его как критическую ситуацию, постулируя наличие врага – «еврейского заговора»: он формулировал цель и средства к ее достижению. Нацизм разоблачал реальность таким образом, который позволял ее субъектам обрести глобальную «когнитивную карту», включавшую пространство для их осознанного участия. Возможно, именно здесь следует искать одну из главных опасностей капитализма: хотя он глобален и охватывает весь мир, он поддерживает, строго говоря, безмирную идеологическую констелляцию, лишая большинство людей какой-либо значимой когнитивной карты. Капитализм – это первый общественно-экономический строй, который де-тотализует значение: он не глобален на уровне значения. В конце концов, не существует глобального «капиталистического мировоззрения», нет собственно «капиталистической цивилизации»: основной урок глобализации как раз в том и состоит, что капитализм может приспособиться ко всякой цивилизации, от христианской до индуистской или буддистской, от западной до восточной. Глобальное измерение капитализма может быть сформулировано лишь на уровне истины-без-значения, как Реальное глобального рыночного механизма.

Поскольку в Европе модернизация растянулась на несколько столетий, мы успели приспособиться к ней, смягчить ее сокрушительное воздействие благодаря культурно-просветительной работе, формированию новых социальных нарративов и мифов, тогда как ряд других обществ, например мусульманские, оказались подвержены этому воздействию непосредственно, без какого-либо защитного заслона или отсрочки, поэтому их символическая вселенная испытала гораздо более жестокие пертурбации: они потеряли свою (символическую) почву, не имея возможности обрести новое (символическое) равновесие. Поэтому неудивительно, что для некоторых таких обществ единственный способ избежать полного распада заключался в том, чтобы в панике воздвигнуть барьер «фундаментализма», провести психотически-бредово-инцестуальное восстановление религии как прямого проникновения в божественное Реальное со всеми ужасающими последствиями, которые таит в себе такое восстановление, вплоть до мстительного возвращения непристойного Сверх-Я божественности, требующего жертвоприношений. Усиление Сверх-Я – еще одна особенность, общая для постмодернистской вседозволенности и нового фундаментализма. А различаются они местом сре-

доточия требуемого удовольствия: в случае вседозволенности это мы сами, а в случае фундаментализма – Бог<sup>5</sup>.

Пожалуй, наилучшим символом этой опустошенной постисторической Кореи является событие из области поп-музыки, произошедшее летом 2012 года: песня «Gangnam Style» в исполнении PSY. В качестве курьеза стоит отметить, что клип «Gangnam Style» обогнал «Beauty and a Beat» Джастина Бибера, став самым популярным видео на YouTube за все время существования сайта. 21 декабря 2012 года он достиг магического числа в миллиард просмотров, а поскольку именно 21 декабря люди, всерьез относившиеся к предсказаниям календаря майя, ожидали конца света, то можно сказать, что древние майя оказались правы: тот факт, что видео «Gangnam Style» собрало миллиард просмотров, в сущности действительно означает коллапс цивилизации. Эта песня не только дико популярна, она еще и вгоняет людей в коллективный транс, когда десятки тысяч человек кричат и исполняют танец, имитирующий езду верхом, в одинаковом ритме и с энергией, невиданной со времен «Битлз», благоговей перед PSY как перед новым мессией. Его музыка – псиданс в своем худшем виде – однообразная и механически простая, в основном сгенерированная на компьютере (напомню, что PSY, псевдоним певца, – это сокращение от термина «психоделический транс»); но интересно то, как он со-единяет коллективный транс с самоиронией. Слова песни (и постановка клипа) очевидно высмеивают бессмысленность и пустоту «Каннам стайла»<sup>3</sup>, причем, как некоторые утверждают, самым подрывным образом, но нас она тем не менее околдовывает и заставляет следовать своему тупому ритму марша, присоединяясь к нему в чистом подражании (мимесисе); по всему миру проводятся флешмобы, имитирующие моменты из этой песни, и так далее. «Каннам стайл» является идеологией не вопреки иронической дистанции, а благодаря ей. Ирония здесь играет ту же роль, что, например, документальный стиль в фильме Триера «Рассекая волны», сдержанная псевдодокументальная форма которого обостряет его эксцентричное содержание; в сугубо гомологическом плане ироническое самовысмеивание «Gangnam Style» обостряет глупое *jouissance* (наслаждение) рейв-музыки. Многие зрители считают эту песню отвратительно привлекательной, то есть они «обожают ее ненавидеть», или, точнее, им нравится находить ее отвратительной, поэтому они включают ее раз за разом, чтобы продлить свое отвращение, – эта компульсивная природа непристойного *jouissance* во всей его глупости является именно тем, от чего настоящее искусство должно нас освободить. Почему бы нам не сделать еще шаг и не провести параллель между исполнением «Gangnam Style» на большом сеульском стадионе и теми представлениями, что устраиваются по другую сторону границы в Пхеньяне и прославляют северокорейских любимых лидеров? Не получаем ли мы в обоих случаях схожие неосакральные ритуалы непристойного *jouissance*?

Может показаться, что в Корее, как и в других странах, сохраняются разнообразные формы традиционной мудрости, служащие буфером, который защищает их от потрясений модернизации. Однако легко можно заметить, как эти пережитки традиционной идеологии уже трансфункционализируются, превращаются в идеологические инструменты, призванные способствовать быстрой модернизации, – например, так называемая восточная духовность (буддизм) с ее более «мягким», уравновешенным, всесторонним, экологическим подходом (вспоминаются истории о том, как, скажем, тибетские буддисты, выкапывая землю под фундамент дома, стараются не убивать червей). Дело не только в том, что западный буддизм, этот поп-культурный феномен, проповедующий внутреннюю дистанцию и безразличие наперекор неистовому темпу рыночной конкуренции, является едва ли не самым эффективным способом полностью вовлечь нас в динамику капитализма при сохранении видимости психического здоровья – словом, парадигматической идеологией позднего капитализма; следует добавить, что уже невозможно противопоставлять такой западный буддизм его «аутентичному» восточному

<sup>3</sup> То есть роскошного образа жизни, которым славится Каннамгу – богатый и модный район Сеула.

варианту, и это убедительно доказывает пример Японии. Мало того, что сегодня среди японских топ-менеджеров широко распространился феномен «корпоративного дзена»: в последние полтора века большинство мыслителей дзена поддерживали быструю индустриализацию и милитаризацию Японии с ее этикой дисциплины и жертвенности.

Здесь мы сталкиваемся с диалектической логикой исторической трансфункционализации: в изменившейся исторической констелляции остатки досовременного прошлого могут начать играть роль символа того, что является невыносимо травматическим в условиях крайней современности. То же самое справедливо и для роли вампиров в нашем идеологическом воображаемом. Стэйси Эббот показала, как кинематограф полностью переосмыслил архетип вампира: вместо всего примитивного и фольклорного вампиры стали воплощать в себе сам опыт современности<sup>6</sup>. Нынешний вампир не носит плащ и не спит в гробу, а живет в крупных городах, слушает панк, охотно принимает высокие технологии и адаптируется к любой ситуации.

Это, конечно, никоим образом не подразумевает, что буддизм можно свести к капиталистической идеологии. Чтобы прояснить этот довод, давайте рассмотрим один неожиданный пример. В 1991 году Ричард Тарускин язвительно назвал всю музыку Прокофьева, за исключением юношеских произведений, плохой. То, что Прокофьев сочинил на Западе, оказалось «помятым или гнилым, справедливо отвергнутым и невоскресимым» в своей поверхностной модерновости; оно должно было составить конкуренцию Стравинскому, но не смогло. Осознав это, Прокофьев вернулся в сталинскую Россию, где его работы были подпорчены «карьеризмом» и, «возможно, заслуживающим порицания безразличием... скрытым за личной аполитичности». В Советском Союзе Прокофьев сперва стал подсадной уткой Сталина, а затем его жертвой, но внутри него всегда сохранялась «совершенная пустота» «абсолютного» музыканта, «который просто писал музыку или, точнее, писал “просто музыку”»<sup>7</sup>. Эти утверждения, несмотря на всю их несправедливость, указывают на некую квазипсихотическую позицию Прокофьева: в отличие от других советских композиторов, втянутых в водоворот сталинских обвинений (Шостаковича, Хачатуряна и прочих), Прокофьев не проявлял внутренних сомнений, истерии или тревоги: он пережил кампанию против формализма 1948 года с почти психотическим спокойствием, как будто она его не касалась. (Само его безумное возвращение в СССР в 1936 году, в самый разгар сталинских чисток, многое говорит о его душевном состоянии.) Судьба его творчества в период сталинизма весьма иронична: большинство его работ, сочиненных в соответствии с партийной линией, были раскритикованы и отвергнуты как неискренние и слабые (каковыми они и являлись), тогда как за свои «диссидентские» камерные произведения (седьмую и восьмую фортепьянные сонаты, первую скрипичную сонату, сонату для виолончели) он получил Сталинские премии. Особый интерес представляет (очевидно, искреннее) идеологическое обоснование Прокофьевым строгого соблюдения сталинистских требований: принятие им сталинизма неразрывно связано с его приверженностью христианской науке. В гностической вселенной христианской науки материальная реальность – всего лишь видимость: человек должен подняться над ней и достичь духовного блаженства через тяжелый труд и самоотречение. Прокофьев перенес эту установку на сталинизм, трактуя ключевые требования сталинской эстетики – простоту, гармонию, радость – сквозь эту гностическую призму. Используя термин, предложенный Жан-Клодом Мильнером, можно сказать, что, хотя вселенная Прокофьева не гомогенна со сталинизмом, она определенно была *homogénéisable* («гомогенизируемой»): Прокофьев не просто оппортунистически приспособился к сталинской реальности. И этот же вопрос напрашивается сегодня: хотя было бы глупо утверждать, что буддистская духовность гомогенна с глобальным капитализмом, она определенно поддается гомогенизации с ним.

Если вернуться к Корее, то этот анализ, похоже, подтверждается документальным фильмом «Пропаганда» 2012 года (который легко найти в сети) о капитализме, империализме и

западной культуре как средстве манипуляции в меркантильных целях, а также о том, как они пронизывают все аспекты жизни блаженно невежественных и напоминающих зомби масс. Это пародия на северокорейский документальный фильм, снятая группой из Новой Зеландии, но, как говорят в Италии, *se non è vero, è ben trovato*<sup>4</sup>. Авторы затрагивают темы использования страха и религии для манипулирования массами, а также роли медиа, отвлекающих нас яркими картинками от осмысления масштабных проблем. Один из лучших аспектов фильма – уничтожающая критика культуры поклонения знаменитостям: рассказ о Мадонне и о том, как Брэд и Анджелина «покупают детей в странах третьего мира», о западной одержимости гламурной жизнью и самолюбованием при игнорировании бедственного положения бездомных и чужих страданий, о том, как знаменитости являются инструментом коммодификации, порой даже не осознавая этого, что зачастую доводит их до безумия – все это настолько точно, что становится страшно. Таков окружающий нас мир. Все это, особенно часть о Майкле Джексоне (взгляд на то, «что Америка сделала с этим человеком»), так актуально, что это трудно проглотить. Если убрать из «Пропаганды» короткие отрывки, в которых упоминается мудрость великого любимого лидера и прочее, то получилась бы стандартная (и даже не традиционно-марксистская, а, более узко, западно-марксистская в стиле Франкфуртской школы) критика потребительства, коммодификации и индустрии культуры. Однако особое внимание следует обратить на содержащееся в начале фильма предупреждение: голос рассказчика говорит зрителям, что, хотя порочность и извращенность увиденного смутит и шокирует их, великий любимый Лидер считает, что они достаточно зрелые и могут узнать ужасную правду о внешнем мире, – подобные слова обычно исходят от доброжелательного, оберегающего материнского авторитета, решившего сообщить детям некий неприятный факт.

Чтобы осмыслить особый идеологический статус Северной Кореи, нельзя уклониться от упоминания мифического царства Шангри-ла из романа Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» – труднодоступной долины в Тибете, где люди живут счастливо и скромно в полной изоляции от испорченной глобальной цивилизации под благотворным руководством образованной элиты. Северная Корея сегодня ближе всего к Шангри-ла – в каком смысле? Идея, которую предложили Пьер Лежандр и некоторые лаконианцы, такова: проблема современности состоит в ослаблении отеческого символического авторитета, Имени-Отца: в его отсутствие разрастается патологический нарциссизм, пробуждающий призрак первобытного Реального Отца. Хотя эта идея будет отвергнута, следует отметить, что закат Господина вовсе не гарантирует автоматического освобождения, но вполне может породить гораздо более деспотичные доминирующие фигуры. В Северной Корее патриархат фактически подорван, но неожиданным образом. Действительно ли Северная Корея является последним оплотом сталинизма, где тоталитарный контроль сочетается с конфуцианским авторитаризмом? Вот слова самой популярной северокорейской политической песни:

*О Трудовая партия Кореи, лишь у груди которой  
Моя жизнь начинается и заканчивается!  
Буду ли я похоронен в земле, или мой прах разнесет ветер,  
Я остаюсь твоим сыном и снова возвращаюсь к твоей груди!  
Вверяя мое тело твоему заботливому взгляду,  
Твоей любящей протянутой руке,  
Я не перестану восклицать голосом ребенка:  
«О мать! Я не могу жить без матери!»*

<sup>4</sup> Если это и неправда, то хорошо придумано.

Так вот о чем говорит непомерная скорбь после известия о смерти Ким Ир Сена: «Я не могу жить без матери!» В качестве дополнительного подтверждения – две статьи («мать» и «отец») из северокорейского «Словаря корейского языка», опубликованного в 1964 году:

*мать: 1. Женищина, родившая кого-либо: отец и мать, материнская любовь. Материнская доброта выше гор, глубже океана. Также используется в смысле «женищина, имеющая ребенка»: Все матери заботятся о том, чтобы их дети выросли здоровыми и стали выдающимися красными строителями. 2. Уважительное понятие, используемое по отношению к кому-либо в возрасте матери: Товарищ командир взвода называл мать Донгмани «матерью» и всегда помогал ей в работе. 3. Метафора, обозначающая любящего, за всем присматривающего и заботящегося о других человека: Партийные деятели должны стать матерями, которые непрерывно с любовью обучают рядовых партийцев, берут на себя роль знаменосцев на рабочем фронте. Иными словами, тот, кто отвечает за порядок в доме, должен стать матерью для других его обитателей. Это значит, что он должен тщательно следить за всем: не мерзнет ли кто-то, не болен ли, хорошо ли питается и т. д. 4. Метафора, обозначающая источник, откуда что-либо берет начало: Партия – великая мать всего нового; Необходимость – мать изобретений.*

*отец: муж чьей-либо биологической матери<sup>8</sup>.*

Возможно, именно поэтому вплоть до третьего Кима о жене вождя не говорили публично: вождь был гермафродитом с преимущественно женскими качествами. Не противоречит ли это северокорейской политике «военного кулака» с ее безжалостной дисциплиной и муштрой? Нет, это две стороны одной медали. Фигура матери, с которой мы здесь имеем дело, представляет собой так называемую «некастрированную» всемогущую и всепожирающую мать: по поводу реальной матери Жак-Ален Миллер отмечал, что «существует не только неудовлетворенная мать, но и всемогущая. И страшная сторона этой лакановской фигуры матери связана с тем, что она является всесильной и неудовлетворенной одновременно»<sup>9</sup>. Здесь-то и кроется парадокс: чем более «всемогущей» представляется мать, тем более она не удовлетворена (тем больше ее «нехватка»): «Лакановская мать соответствует формуле *quaerens quem devoret*: она ищет, кого бы сожрать, и поэтому Лакан изображает ее крокодилком, субъектом с раскрытым ртом»<sup>10</sup>. Такая пожирающая мать не отвечает (на просьбу ребенка о проявлении любви), и именно в таком виде она кажется всемогущей: «Поскольку мать не отвечает... она трансформируется в реального агента, обладающего грубой властью... если Другой не отвечает, он превращается в пожирающую власть»<sup>11</sup>. Именно поэтому женственные черты, явно различимые на официальных портретах двух Кимов, неслучайны. Цитируем Брайана Рейнолдса Майерса:

*Ким [Ир Сен] был для своего народа скорее матерью, а не строгим конфуцианским патриархом: его до сих пор изображают мягкощекимым и заботливым, прижимающим к своей широкой груди плачущих взрослых, завязывающим инурки молодому солдату или позволяющим счастливым детям залезать на себя. Эта традиция продолжилась при Ким Чен Ире, которого называли «большей матерью, чем все матери мира». Несмотря на титул генералиссимуса и политику военного кулака, в репортажах о его бесконечных поездках по военным базам основное внимание уделялось хлопотливой заботе о здоровье и комфорте солдат. Поэтому насмешки зарубежных наблюдателей над его образом столь же несправедливы, сколь и*

*утомительны. Любой, кто видел толпу корейских матерей, ждущих у школы окончания экзамена, без труда узнает серую куртку Кима и его опущенные плечи или скорбное лицо под нечесаными волосами: это мать, у которой нет времени подумать о себе*<sup>12</sup>.

В таком случае не представляет ли собой Северная Корея нечто вроде индийской Кали – великодушной/смертоносной богини – во власти? Здесь следует различать два уровня: в Северной Корее поверхностный уровень маскулинно-милитаризованного дискурса о Лидере как «Генералиссимусе» (с идеями чучхе о необходимости рассчитывать только на свои силы, о человеке как хозяине своей судьбы) поддерживается другим, более глубинным уровнем, на котором Лидер обеспечивает материнскую защиту. Вот как Майерс формулирует основную аксиому северокорейской идеологии: «Корейский народ слишком чистокровен и, следовательно, слишком добродетелен, чтобы выжить в этом мире зла без великого вождя-родителя»<sup>13</sup>. Разве это не прекрасный пример лакановской формулы отцовской метафоры – Имени-Отца как метафорической замены желания матери? На переднем плане Имя-Отца (Лидер/Генералиссимус), а за ним – защитное/разрушительное желание матери?<sup>14</sup>

Один из ньюэйджевских трюизмов гласит, что Запад слишком сильно пронизан мужским/отцовским принципом доминирования, дисциплины, борьбы и т. д. и что для восстановления равновесия мы должны заново утвердить женский принцип любящей заботы и защиты. Однако примеры «жестких» политиков-женщин от Индиры Ганди до Маргарет Тэтчер должны заставить нас призадуматься. Сегодня преобладающая фигура власти – уже не патриархальный Господин. Даже «тоталитаризм» более не является дискурсом Господина; тем не менее трагический опыт многих революций, в которых свержение старого Господина заканчивалось гораздо более жестоким террором, ни в коем случае не должен позволить нам призывать к борьбе за возврат к отцовской символической власти как к единственному выходу из саморазрушительного тупика позднекапиталистического нарциссического протеического Я. А это возвращает нас к Берарди. Хотя Северная и Южная Корея различны настолько, насколько можно себе представить, у них есть одна общая черта: обе они представляют собой постпатриархальные общества. Таким образом, причина, по которой «Пропаганда» часто звучит до боли искренне, связана не просто с тем фактом, известным по «Персидским письмам» Монтескье, что наивный взгляд иностранца способен уловить в нашей культуре вещи, ускользающие от нас самих, а скорее с тем, что чрезвычайный контраст между Северной и Южной Кореей поддерживается глубинной общностью, на которую указывает название фильма: двумя крайними режимами безвременности, застывшей историчности в узком смысле слова. (Вот почему примечателен сам термин «пропаганда»: в названии этой документальной ленты используется слово, которое лучше всего вписывается в ее собственную – северокорейскую – идеологическую вселенную.)

Есть известная еврейская история о ребенке, который, услышав от раввина чудесную старую легенду, нетерпеливо спрашивает его: «Это произошло на самом деле? Это правда?» Раввин отвечает: «На самом деле этого не было, но это правда». Такое утверждение «более глубокой» символической истины (по сравнению с фактической) следует дополнить его противоположностью – нашей реакцией на многочисленные потрясающие «события» может быть только: «Это действительно произошло, но это не правда». Поэтому мы должны быть тем более благодарны за любые признаки надежды, сколь угодно малые, как, например, существование Café Photo в Сан-Паулу. Оно рекламируется как «развлечение с особым флером» и является, по словам знающих людей, местом встречи высококлассных проституток с их потенциальными клиентами. Хотя этот факт хорошо известен широкой публике, данная информация не упоминается на сайте кафе: официально «это место, где вы проведете вечер в самой лучшей компании».

Там и правда все происходит с особым флером: проститутки – в основном студентки гуманитарных факультетов – сами выбирают клиентов. Мужчины входят, садятся за стол, заказывают напиток и ждут, пока женщины наблюдают за ними. Если один из них кажется женщине подходящим, она садится за его стол, позволяет ему угостить себя и заводит разговор на какую-нибудь интеллектуальную тему, обычно касающуюся культурной жизни, иногда даже теории искусства. Если она находит мужчину достаточно ярким и привлекательным, то спрашивает его, не хочет ли он переспать с ней, и называет цену. Это проституция с феминистским уклоном, если такое вообще возможно, хотя, как это часто бывает, ценой такого феминистского уклона становится классовое ограничение: и проститутки, и их клиенты – представители высшего класса или по крайней мере верхнего сегмента среднего класса. Поэтому я скромно посвящаю свою книгу проституткам Café Photo в Сан-Паулу.

## 1. Диагноз *Hors d'oeuvre?*

### Кризис, какой кризис?

Ситуация в Южной Корее сегодня заставляет вспомнить первые строки из «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса: «...это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди; все мы стремительно мчались в рай, все мы стремительно мчались в ад»<sup>5</sup>. Итак, в Южной Корее мы находим высочайшую производительность экономики, но с лихорадочной интенсивностью ритма работы; безмерный потребительский рай, но с адским одиночеством и отчаянием; материальное изобилие, но с опустыниванием ландшафта; имитацию древних традиций, но с рекордным уровнем самоубийств в мире. Эта радикальная двойственность нарушает образ Южной Кореи как совершенной истории успеха современности. Да, это успех, но какого рода?

Рождественский выпуск журнала *Spectator* 2012 года открывался редакционной статьей «Почему 2012 год был самым лучшим», в которой оспаривалось мнение, будто мы живем в «опасном, жестоком мире, где все плохо и становится только хуже»:

*Возможно, вам так не кажется, но 2012 год был прекраснейшим годом в мировой истории. Да, это громкое заявление, однако оно подтверждается доказательствами. Никогда еще в мире не было так мало голода, так мало эпидемий и так много процветания. Хотя Запад переживает экономический спад, большинство развивающихся стран мчатся вперед и люди вырываются из бедности с невиданной быстротой. Количество смертей из-за войн или стихийных бедствий тоже, к счастью, невелико. Мы живем в золотом веке<sup>1</sup>.*

Эту же идею в деталях раскрывает Мэтт Ридли – вот аннотация его книги «Рациональный оптимист»:

*Нанося мощный контрудар по преобладающему в наше время пессимизму, [книга] доказывает, что все становится лучше, пусть мы и привыкли думать иначе. Десять с лишним тысяч лет назад население планеты составляло меньше десяти миллионов человек. Сегодня нас более шести миллиардов, и девяносто девять процентов из нас лучше питаются, имеют лучший кров, лучше развлекаются и лучше защищены от болезней, чем наши предки в каменном веке. Доступность практически всего, чего бы ни захотелось или ни понадобилось человеку, возростала, пусть и неравномерно, на протяжении последних десяти тысяч лет и резко увеличилась за последние два столетия: калории, витамины, чистая вода, машины, личное пространство, средства передвижения, за которыми не угнаться, и возможность общаться на таком расстоянии, что не докричишься. И тем не менее, как ни странно, при всех улучшениях в нашем образе жизни люди все еще цепляются за убеждение, что в будущем нас ждут одни катастрофы<sup>2</sup>.*

---

<sup>5</sup> Цит. в пер. Е. Бекетовой.

Примерно о том же пишет и Стивен Пинкер в книге «Лучшие ангелы нашей природы». Вот аннотация к ней:

*Хотите верить, хотите нет, но мы, вероятно, переживаем самый мирный период в истории существования нашего вида. В своей захватывающей и широко обсуждаемой новой книге один из самых читаемых авторов New York Times демонстрирует, что, несмотря на нескончаемые новости о войнах, преступлениях и терроризме, в исторической перспективе применение силы неуклонно сокращается. Эта многообещающая книга, развенчивающая мифы о присущей людям склонности к насилию и о проклятии модернизации, продолжает исследования Пинкера о сущности человеческой природы. Соединяя психологию и историю, автор рисует замечательную картину все более просвещенного мира<sup>3</sup>.*

В СМИ, особенно неевропейских, можно часто встретить более сдержанный вариант этого оптимизма в связи с экономикой: кризис, какой кризис? Взгляните на страны БРИК, на Польшу, Южную Корею, Сингапур, Перу, на многие африканские государства к югу от Сахары – все они преуспевают. Теряют только Западная Европа и, до некоторой степени, США, так что мы имеем дело не с мировым кризисом, а просто со смещением вектора прогресса в сторону от Запада. Разве не является убедительным символом этого смещения тот факт, что в последнее время многие люди из Португалии, оказавшейся в глубоком кризисе, возвращаются в Мозамбик и Анголу – бывшие португальские колонии, – но уже как экономические иммигранты, а не колонисты? Наш часто обсуждаемый кризис едва ли заслуживает своего названия, если он – всего лишь локальное затруднение в контексте общего прогресса. Даже если говорить о правах человека: разве ситуация в Китае и России сейчас не лучше, чем полвека назад? Разговоры о продолжающемся кризисе как глобальном феномене характерны для типично евроцентричного взгляда, более того, для взгляда левых, которые обычно гордятся своим антиевроцентризмом.

В целом можно согласиться, пусть и с множеством оговорок, с теми данными, которые приводят эти «рационалисты». Да, мы сегодня определенно живем лучше, чем наши предки в каменном веке десять тысяч лет назад, и даже среднестатистический узник Дахау (нацистского «трудового лагеря», а не «лагеря смерти», каковым был Освенцим) жил чуточку лучше, чем пленный раб монголов. И т. д. и т. п. Но в этой истории кое-чего не хватает.

Прежде всего (здесь нам стоит умерить свою антиколониалистскую радость) возникает вопрос: если Европа переживает постепенный упадок, то *что приходит на смену ее гегемонии?* Ответом будет: «капитализм с азиатскими ценностями» (что, конечно, не имеет никакого отношения к жителям Азии, но целиком связано с явной и актуальной тенденцией современного капитализма как такового приостанавливать действие демократии). Со времен Маркса настоящие левые радикалы никогда не были просто «прогрессистами». Им вечно не давал покоя вопрос: какова цена прогресса? Маркс восторгался капитализмом и неслыханным ростом высвобожденных им производительных сил, однако утверждал, что этот самый успех порождает и противоречия. И мы должны делать то же самое, говоря о современном прогрессе глобального капитализма: помнить о его темной стороне, которая нагнетает напряженность и ведет к протестам.

Все это подразумевает, что сегодняшние консерваторы на самом деле не такие уж и консерваторы. Всецело принимая то, что капитализм непрерывно самостоятельно революционизируется, они просто хотят сделать его более эффективным, дополнив некоторыми традиционными институтами (например, религией), чтобы уменьшить его пагубное влияние на социальную жизнь и сохранить социальную сплоченность. В наше время истинным консерватором является тот, кто полностью признает антагонизмы и тупики глобального капитализма,

отвергает простой прогрессивизм и замечает мрачную изнанку прогресса. В этом смысле только левые радикалы могут сегодня считаться настоящими консерваторами.

Люди восстают не тогда, когда «все очень плохо», а когда обманываются их ожидания. Великая французская революция произошла после того, как король и аристократия десятилетиями постепенно утрачивали власть; антикоммунистическое восстание 1956 года в Венгрии вспыхнуло, когда Имре Надь уже два года занимал пост премьер-министра, после (сравнительно) свободных дебатов в среде интеллектуалов; в Египте в 2011 году люди взбунтовались, потому что при Мубараке наблюдался некоторый экономический прогресс, обусловивший становление целого класса образованных молодых людей, включенных во всемирную цифровую культуру. И поэтому китайские коммунисты имеют все основания для паники, ведь, хотя китайцы в среднем живут сейчас значительно лучше, чем сорок лет назад, резко обострились социальные противоречия (между недавно разбогатевшими и всеми остальными), а ожидания людей стали в общем и целом намного выше. Такова проблема развития и прогресса: они всегда неравномерны, они порождают новые нестабильности и противоречия, вызывают новые ожидания, которые не удастся удовлетворить. В Тунисе и Египте накануне «арабской весны» большинство людей, вероятно, жили чуть лучше, чем несколькими десятилетиями ранее, но стандарты, с которыми они соотносили свое (не)довольство, стали куда более высокими.

Поэтому да, *Spectator*, Ридли, Пинкер и сочувствующие им в принципе правы, но подчеркиваемые ими факты как раз и создают условия для протестов и восстаний. Ошибку, которой необходимо избежать, лучше всего проиллюстрировать историей (возможно, вымышленной) о левокейнсианском экономисте Джоне Гэлбрейте. Перед поездкой в СССР в конце 1950-х годов он написал своему другу и антикоммунисту Сидни Хуку: «Не волнуйся, я не позволю Советам очаровать меня и не стану по возвращении говорить, что у них там социализм!» Хук, не задумываясь, ответил: «Но именно это меня и тревожит, что ты вернешься и будешь говорить, что в СССР НЕ социализм!» Хука беспокоила наивная защита чистой идеи: если строительство социалистического общества не ладится, то это не обесценивает саму идею, а просто означает, что ее неправильно воплощают. Не правда ли, в наши дни фундаменталисты-рыночники демонстрируют такую же наивность? Когда в ходе недавних теледебатов во Франции Ги Сорман заявил, что демократия и капитализм непременно идут рука об руку, я не удержался и задал ему очевидный вопрос: «А как насчет современного Китая?» Он тут же выпалил: «В Китае нет капитализма!» С точки зрения такого фанатичного сторонника капитализма, как Сорман, если страна не демократична, это просто означает, что настоящего капитализма в ней нет, а есть лишь его изуродованная версия, точно так же как, по мнению коммуниста-демократа, сталинизм не являлся подлинной формой коммунизма. Ошибку, которая здесь скрыта, легко заметить. На ней же строится известная шутка: «Моя невеста никогда не опаздывает на свидания, потому что, когда она опаздывает, она больше не моя невеста!» Так сегодняшняя апология свободного рынка объясняет кризис 2008 года: якобы он был вызван не провалом свободного рынка, а чрезмерным государственным регулированием, то есть тем, что наша рыночная экономика не была настоящей, а все еще находилась в тисках социально ориентированного государства. Придерживаясь такого чистого понимания рыночного капитализма и списывая все его провалы на случайные неурядицы, мы неизбежно приходим к наивному прогрессивизму, игнорирующему свистопляску противоположностей.

Один из самых ярких примеров этой свистопляски в экономической сфере – странное сосуществование интенсивной занятости и значительной безработицы: чем интенсивнее трудятся работающие, тем шире угроза безработицы. Таким образом, сегодняшняя ситуация вынуждает нас сместить акцент в трактовке «Капитала» Маркса с общей темы капиталистического воспроизводства к тому, что Фредрик Джеймисон называет «фундаментальным структурным главенством безработицы в самом тексте “Капитала”»: «безработица структурно неотделима от процессов накопления и экспансии, составляющих саму природу капитализма как

такового»<sup>4</sup>. В этой, можно сказать, крайней точке «единства противоположностей» в экономической сфере именно успех капитализма (повышенная производительность и прочее) порождает безработицу (делает все большее количество рабочих невостребованными): предполагаемое благо (меньшая потребность в тяжелом труде) оборачивается проклятием. В этом смысле мировой рынок, если говорить о его имманентной динамике, является «пространством, в котором каждый когда-то был продуктивным рабочим и в котором труд повсеместно начал вытесняться из системы ценовым фактором»<sup>5</sup>. Иначе говоря, в продолжающемся процессе капиталистической глобализации категория безработных приобрела новое качество, выходящее за пределы классического понятия «резервной армии труда». К категории безработных следует отнести «те значительные массы населения по всему миру, которые как бы “выпали из истории”, были намеренно исключены из проводимых странами первого мира капиталистических проектов модернизации и списаны как безнадежные или бесперспективные»<sup>6</sup>: это так называемые «несостоятельные страны» (failed states; Конго, Сомали), страдающие от голода или экологических катастроф, раздираемые псевдоархаической «этнической враждой», ставшие объектами благотворительности и деятельности неправительственных организаций или же (часто в результате внимания тех же самых людей) «войны с терроризмом». Таким образом, категорию безработных необходимо расширить, включив в нее самые разные слои населения, от временно безработных, нетрудоспособных и постоянно безработных, до тех, кто живет в трущобах и прочих гетто (всех тех, кого сам Маркс часто пренебрежительно называл «люмпен-пролетариатом»), и, наконец, целых областей, групп населения или государств, исключенных из глобального капиталистического процесса, словно белые пятна на старых картах. Не приводит ли это расширение круга «безработных» нас обратно от Маркса к Гегелю: «отребье» возвращается, появляясь в самом центре освободительной борьбы? Другими словами, такая реклассификация меняет все «когнитивное картирование» ситуации: инертный фон Истории превращается в потенциального агента эмансипативной борьбы.

Тем не менее необходимо добавить три оговорки к тому, как Джеймисон раскрывает эту идею. Во-первых, нужно скорректировать предложенный Джеймисоном семиотический квадрат, комплементарные термины которого – это (1) рабочие, (2) резервная армия (временно) безработных, (3) (постоянно) безработные и (4) «ранее занятые»<sup>7</sup>, но в данный момент нетрудоспособные. Не лучше ли в качестве четвертого термина выбрать категорию *нелегально занятые*, включающую в себя работающих на черном рынке и в трущобах, а также находящихся в рабстве той или иной формы? Во-вторых, Джеймисон не уточняет, что эти «исключенные» все же нередко включены в мировой рынок. Возьмем, к примеру, Конго: за фасадом «примитивных этнических страстей», снова кипящих в африканском «сердце тьмы», проступают контуры глобального капитализма. После свержения Мобуту Сесе Секо Конго больше не является единым функционирующим государством. Так, его восточная часть состоит из множества территорий, управляемых местными полевыми командирами, которые контролируют свой кусок земли при помощи армий, в том числе накачанных наркотиками детей. Каждый такой командир поддерживает деловые связи с какой-нибудь иностранной компанией или корпорацией, добывающей природные ресурсы (в основном минералы) региона. Эта схема подходит обоим партнерам: корпорация получает права на разработку месторождений без уплаты налогов, а главарям щедро платят. Ирония в том, что многие из этих полезных ископаемых используются в высокотехнологичных изделиях, таких как ноутбуки и мобильные телефоны. Короче говоря, забудьте о «дикарских обычаях» местного населения: стоит убрать из этого уравнения иностранные высокотехнологичные компании, и теория «этнической войны, подогреваемой древними страстями», развалится, словно карточный домик<sup>8</sup>. И, в-третьих, категорию «ранее занятых» следует дополнить ее противоположностью – образованными безработными. Сегодня целое поколение студентов практически не имеет шансов найти подходящую вакан-

сию, а это вызывает массовые протесты. Непосредственное подчинение образования потребностям рынка является худшим способом заполнить эту брешь хотя бы потому, что сами рыночные процессы делают университетское образование «устаревшим». Этим безработным студентам суждено сыграть ключевую организующую роль в грядущих эмансипационных движениях (что они уже сделали в Египте, а также в ходе европейских протестов в разных странах, от Греции до Великобритании). Радикальные перемены никогда не инициируются одними лишь бедняками, и дополнительный фактор неустроенной образованной молодежи (в сочетании с широкодоступными современными цифровыми технологиями) открывает перспективы по-настоящему революционной ситуации.

Джеймисон делает еще один (парадоксальный, но категорически оправданный) важный шаг: он характеризует эту новую структурную безработицу как форму *эксплуатации*. Эксплуатируются не только рабочие, производящие прибавочную стоимость, которая затем присваивается капиталом; эксплуатируются также те, кто структурно не допускается до капиталистического водоворота эксплуатируемого наемного труда, включая целые регионы и нации. Как же нам в таком случае переосмыслить понятие эксплуатации? Здесь требуется его радикальный пересмотр: делая подлинно диалектический выверт, эксплуатация включает и свое отрицание: эксплуатируются не только те, кто производит или «творит», но также (и даже в большей степени) те, кто обречен не творить. Не возвращаемся ли мы здесь к структуре, напоминающей старый советский анекдот о Рабиновиче? Бюрократ в ОВИРе спрашивает его, почему он принял такое решение, на что Рабинович отвечает: «По двум причинам: во-первых, я боюсь, что коммунисты в СССР утратят власть, а новый режим обвинит во всем, что они натворили, нас, евреев, снова начнутся еврейские погромы...» «Постойте, – прерывает его бюрократ, – это полная чепуха, в Советском Союзе ничего не изменится, власть коммунистов будет вечной!» «Вот-вот, – спокойно отвечает Рабинович, – это и есть вторая причина». Легко представить, как государственный чиновник спрашивает рабочего: «Почему вы думаете, что вас эксплуатируют?» Рабочий отвечает: «По двум причинам. Во-первых, когда я работаю, капиталист присваивает себе мою прибавочную стоимость». – «Но вы же сейчас безработный; никто не присваивает вашу прибавочную стоимость, ведь вы ее не создаете!» – «Это и есть вторая причина...» Все держится на том факте, что совокупное капиталистическое производство не только нуждается в рабочих, но и создает «резервную армию» людей, которые не могут трудоустроиться: последние не просто находятся вне кругооборота капитала, они активно создаются как неработающие самим этим кругооборотом.

В фильме Любича «Ниночка» есть прекрасная диалектическая шутка. Герой входит в кафе и заказывает кофе без сливок, на что официант отвечает: «Извините, у нас закончились сливки. Могу я предложить вам кофе без молока?» При любом раскладе клиент получает просто кофе, но в каждом случае он сопровождается разным отрицанием: первый раз это кофе-без-сливок, второй раз – кофе-без-молока. Здесь мы имеем дело с логикой дифференциации, где само отсутствие служит положительной характеристикой, – данный парадокс точно иллюстрируется старым югославским анекдотом о черногорце (жители Черногории в бывшей Югославии считались лентяями): «Почему черногорец, ложась спать, ставит рядом с кроватью два стакана: полный и пустой? Потому что ему лень заранее подумать, захочется ли ему ночью пить». Суть этого анекдота в том, что отсутствие само по себе должно быть положительно зафиксировано: недостаточно иметь один полный стакан воды, поскольку, если черногорцу не захочется пить, он просто проигнорирует его – этот отрицательный факт должен быть отмечен наличием пустого стакана, то есть отсутствие-потребности-в-воде должно материализоваться в пустоте стакана.

Зачем тратить время на эти диалектические анекдоты? Дело в том, что они помогают понять, как в наши якобы постидеологические времена функционирует идеология в чистом виде. Чтобы обнаружить так называемые идео-логические искажения, следует обращать вни-

мание не только на то, что говорится, но и на сложное взаимодействие между сказанным и несказанным, на подразумеваемое сказанным: получаем ли мы кофе без сливок или кофе без молока? У этих строк есть политический эквивалент: в старом анекдоте из социалистической Польши покупатель входит в магазин и спрашивает: «Нет ли у вас масла?» Ему отвечают: «Извините, но это магазин, где нет туалетной бумаги, а тот, в котором нет масла, – через дорогу!» Или вот сцена из современной Бразилии, где во время карнавала люди всех слоев вместе танцуют на улице, ненадолго стирая расовые и классовые различия. Но безработный рабочий, предающийся свободному танцу, отвлекаясь от тревог о том, как прокормить семью, это, разумеется, совсем не то же самое, что богатый банкир, решивший оттянуться и насладиться чувством единения с народом, забыв при этом, что он отказал в кредите бедному рабочему. Сейчас на улице они выглядят одинаково, но рабочий танцует без молока, а банкир танцует без сливок. Этикетки на продуктах питания – еще один яркий пример отсутствия как определяющего фактора: вспомните, как часто мы видим на упаковке надписи «без добавления сахара» или «без консервантов и пищевых добавок», не говоря уже о «без калорий», «без жира» и т. д. Уловка в том, что в случае каждого «без» вы должны принять (сознательно или бессознательно) наличие некоего другого «с» (кока-кола без калорий и сахара? окей, но с искусственными подсластителями, которые тоже могут быть опасны для здоровья).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.